

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
ПРОЗА **РОССИЙСКИХ  
АВТОРОВ**



МАКСИМ  
ГУРЕЕВ

ТАЙ  
НО  
ЗРИ  
ТЕЛЬ



Москва  
2018

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Г95

Художественное оформление  
*Петра Петрова*

**Гуреев, Максим.**  
Г95 Тайнозритель : сборник / Максим Гуреев. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 416 с.

ISBN 978-5-04-090763-2

Повести, вошедшие в эту книгу, если не «временных лет», то по крайней мере обыденного «безвременья», которое вполне сжимаемо до бумажного листа формата А4, связаны между собой. Но не героем, сюжетом или местом описываемых событий. Они связаны единым порывом, звучанием, подобно тому, как в оркестре столь не похожие друга на друга альт и тромбон, виолончель и клавесин каким-то немислимым образом находят друг друга в общей, на первый взгляд какофонии звуков. А еще повести связаны тем, что в каждой из них — взгляд внутрь самого себя, когда понятия «время» не существует и абсолютно не важна хронология.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-090763-2

© Гуреев М., 2018  
© Оформление. ООО  
«Издательство «Э», 2018

# ВОЖЕГА

## Повесть

**И** Вожега вышел в коридор и, дождавшись, когда в дверях появится Зофья Сергеевна Кауфман, проделал следующее — указательным и средним пальцами правой руки оттопырил нижние веки, а большим пальцем той же руки раскорячил нос так, что совершенно вывернул при этом все содержимое его ноздрей-нор.

Кукиш вместо лица получился.

От неожиданности Зофья Сергеевна, конечно, тут же закричала, потому как ей в темноте, да еще и с перепугу, показалось, будто Вожега надел себе на голову пакет из-под картошки и теперь задыхается в нем, хрипит, бьется в судорогах, конвульсиях, слабеет, вещает при этом загробным голосом: «Это я, Зофья, твой муж — Вольфрам Авиэзерович Кауфман. Не узнаешь меня, что ли?»

Ну, конечно же, не узнает, попробуй тут узнай, потому как муж Зофьи Сергеевны умер в 1980 году, как раз накануне московской Олимпиады, подавившись куриной костью во время просмотра по телевизору товарищеского футбольного матча «СССР — Венгрия».

Наши тогда, кажется, выиграли с перевесом в один мяч.

Вожега перевесился через подоконник окна второго этажа еще довоенного барака, в котором жил, и захохотал, оттого что ему удалось достигнуть желаемого, а именно — напугать эту толстожопую дуру до смерти.

А что он знал-то про смерть?

Ну, например, то, что она может наступить от внезапной остановки дыхания во сне — апноэ, от отравления ядовитыми грибами, от гнойного воспаления нутра, от тяжелейших желудочных спазмов и конвульсий. Также кончина могла произойти и от механических повреждений — переломов, разрывов, — абсолютно несовместимых с жизнью, от болевого шока могла наступить, но не наступала!

Не наступала, потому как еще не пришел ее черед!

И вот, может быть, именно в ожидании своего черед Зюфья Сергеевна всякий раз демонстративно ложилась на узкую деревянную скамейку, что стояла во дворе, видимо, воображала себе, что лежит таким образом в тесном гробу. Лежала неподвижно, боясь свалиться на землю, скрещивала руки на груди, следила за дыханием, считала до ста, воображала себе льющуюся из крана воду и еще раз до ста, пока не задремывала и не начинала похрапывать, как бы перекатывая внутри собственной гортани мелкие, обточенные прерывистым дыханием-прибоем камешки.

Нет, не то чтобы Вожега ненавидел Зюфью Сергеевну до такой нечеловеческой степени, чтобы совершить над ней бессмысленное и оттого зверское, даже лютое душегубство.

Например, разозжить ей голову сооруженной из обрезка арматуры кочергой!

Дело виделось совсем в другом!

В том, что ему было невыносимо любопытно, что же произойдет, когда Зофья Сергеевна повалится на пол в коридоре, на кухне ли, как раз рядом с газовой плитой, на которой всегда для тепла грелся огнеупорный кирпич, и с ее головы наконец слетит кустарным образом сделанный из синтетического суровья парик.

Слетит и улетит.

Что произойдет при этом? Да, скорее всего, ничего и не произойдет — Зофья Сергеевна будет лежать на полу, страдая от внутренних корчей, а парик закатится куда-нибудь под буфет или под раковину, пролежит там до ноябрьских праздников или даже до Нового года, там отсыреет и покроется колтунами.

На Иванов день приходили колдуны.

Петр и Павел час убавил, точнее сказать, убавили. А на Ильин день змий в Язу мочился.

Егорий Хоробрый убил змия копием, точно таким, каким его выковывают для могильных оград.

А Вольфрам Авиэзерович работал сварщиком могильных оград на Ваганьковском кладбище.

В шкафу висели его костюмы — числом не более трех.

Три Царя — Каспар, Мельхиор и Бальтазар.

Впрочем, еще их принято именовать и волхвами, звездочетами, гадалщиками на высушенных и разложенных в специальных мощевиках насекомых.

Сверчках, например.

Сверчок выпрыгнул из помятого, пахнущего прошлогодними лежалыми листьями сарафана, в котором Зофья Сергеевна была на выпускном вечере в школе как раз накануне войны.

Запах войны — это вовсе не пороха никакого запаха, не паленого мяса и бензиновой гари, а госпитальных, пропитанных гноем бинтов, сырого угля, курящегося куриным пометом, запах. А еще удушливый запах голода.

Смрад.

Всех голубей съели. Кошек, собак и рыб тоже подъели.

Все мальчики из ее класса погибли в первые месяцы войны.

Отмучились.

Отлетели.

Сквозняком открыло окно во двор.

Во дворе играли в «города и села» так — брали напильник, предварительно сняв с него деревянную ручку, втыкали его в землю и прочерчивали кривой эллипсовидный круг. Затем вставляли в середину этого круга и кромсали его кто во что горазд, изображая тем самым населенные пункты — «города» и «села». Соединяли их короткими или, напротив, длинными «мостами», по которым правилами игры было дозвоительно «ходить». Но только «туда» ходить.

А «обратно»?

Нет, нельзя обратно.

Зачеркивали, замазывали, выворачивали из земли камни, осколки битых бутылок, ржавую проволоку, стреляные гильзы или строительную арматуру.

Так играли с остервенением допоздна, совершенно превратив двор тем самым в поле сражения, изрытое траншеями и воронками от взрывов фугасных бомб и снарядов.

Потом подолгу отдыхали, сидя на груде сваленных у слесарных мастерских, откуда, собственно, и воровали напильники, лысых автомобильных покрышек, высвобождали накопившуюся за время игры злость.

Ярость.

Открывали рты, из которых валил густой слоистый пар, а еще пар исходил и от разрытой земли, обволакивал все голубоватой, пряно пахнущей продуктами гниения дымкой.

С реки тянуло холодом.

Вообще-то это было странно, во многом вопреки всем законам природы и потому практически необъяснимо, ведь змий-то мочился в реку каждый год приблизительно в это время, а, стало быть, вода должна была сохранять тепло гораздо дольше, нежели в другие дни. Но этого не происходило. Правда, не следовало забывать и о том, что быстрое течение и ключи-студенцы делали свое дело, и даже жаркими июльскими днями купаться здесь решались немногие храбрецы.

Егорий Хоробрый отсек мечом змию голову и повесил ее на воротах Царьграда. Мол, пусть страшатся и любопытствуют.

По большей части, разумеется, любопытствовали — заглядывали в разгороженную мелкими желтыми зубами зловонную пасть, недоумевали, почему у страшилища такие нестрашные глаза, может быть, потому, что уже остекленели? Трогали лиловый, свисающий до подбородка язык.

Вожега свисал на подоконнике и смотрел вниз, а там, внизу, в окнах первого этажа, уже зажгли свет. Здесь жила семья французских коммунистов, приехавших в Москву еще в двадцатых годах, чтобы работать на радио Коминтерна.

Однако это не мешало им быть людьми довольно религиозными, они поклонялись Лурдскому образу Девы Марии, Фоме Аквинату и Блаженному Августину, были лично знакомы с архиепископом Яном Гиацинтовичем Цепляком и страшно переживали впоследствии, когда его расстреляли в Ленинграде. А еще они держали в потайном месте вырезанный из газеты «Юманите» портрет понтифика.

Рассказывали, что однажды кто-то из соседей написал на них донос, и к ним нагрянули сотрудники ОГПУ, но французы притворились, что не понима-

ют по-русски, и просто мычали в ответ, «яко агнцы, ведомые на заклание».

Пускали слюни, писались под себя, воняли...

«Вот скоты, своих, что ли, идиотов мало, а тут еще эти недоумки понаехали», — молодой, в только что полученной форме лейтенант госбезопасности брезгливо пятился к двери, боясь испачкаться в испражнениях, коими, по его разумению, всегда изобиловал хлев.

Хлеб из опилок.

Хлеб из отрубей.

Хлеб с маслом.

На русскую Масленицу Рубель, Луи, Роббер и Зиту всякий раз надевали на затылки вырезанные из картона и обклеенные фольгой нимбы и пели длинные заунывные канцоны на латыни, видимо, духовного содержания.

Гимны-гимны. Мычали-мычали. Агнцы-агнцы.

А ведь уже в самом слове «гимн» есть все признаки полного отсутствия в нем жизни, всякого движения соков, совершенного окоченения конечностей.

«Гимн, гимон, кимен, гихм, гимх, химон, гимен» — попытка произнести эти слова-мумии, слова-уродцы высушивает гортань, буквально выжигает ее, превращает в потрескавшуюся киммерийскую глину, из которой они, эти слова, собственно, и вылеплены.

А Рубель, Луи, Роббер и Зиту лепили из хорошо просоленного хлебного мякиша монеты и оставляли на них оттиски профилей римских императоров, что прославились в свое время гонениями на первых христиан, — Максимиана, Юлиана Отступника, Галерия, Диоклетиана, Максимиана Дазы.

Затем на эти монеты можно было купить специально освященные семена для пасхального ящика-реликвария, доверху наполненного землей, а потом

откармливать едва проросшей здесь травой толстых, лупоглазых, страдающих булимией хомяков.

Хомяки беспомощно переваливались с боку на бок, озирались по сторонам, сопели.

Или нет, купить на эти монеты корм для рыб, что сонно плавали в пожелтевшем от слизи аквариуме. Плавали-плавали да испуганно пялились на расшитую стеклярусом восьмиугольную салфетку в виде рождественской звезды, которой этот аквариум был накрыт. Думали, что это небо такое над ними, ведь они другого-то и не видели никогда.

Зофья Сергеевна лежала на полу, накрыв лицо париком, чтобы не видеть, как небо перевернулось. Вернее сказать, потолок перевернулся. Это так всегда получалось, если лежать головой к двери или видеть головой вниз...

А Вожега свешивался головой вниз из окна второго этажа, тряс головой, усиливая тем самым внутри нее кровообращение. И вот из носа начинала идти кровь.

— Слышь, Вожега, иди в «города» играть! — звал коренастый, с красным, как каленый медяк, лицом парень по фамилии Румянцев, но почему-то при этом имевший прозвище Румын. — Или забоялся, Вожега? А?

Не дождавшись ответа, который его, впрочем, и не интересовал, Румын глубоко, с каким-то даже особенным удовольствием, остервенением ли втыкал напильник в землю, прочерчивал круг, тем самым показывая, что занял «город», и говорил: «Это мой город, Петербург».

Вообще-то у Вожеги было имя — Петр.

А Вожегой звали потому, что в Москву его привезли вскоре после войны из расформированного детдома, который находился в поселке Вожега, километрах в ста севернее Вологды, и поселили у его

дальней родственницы по отцовской линии — глухой Нины Колмыковой, как раз в этом самом двухэтажном бараке на Щипке.

В те далекие времена, когда Вожега еще был Петром, он любил залезать на огромную, дымящуюся высохшим мхом гранитную кручу, в расселинах которой обнаруживались следы морских раковин, моллюсков и окаменевших водорослей. Это означало, что раньше, много миллионов лет назад, здесь находилось море, которое впоследствии то ли высохло совершенно, то ли поднялось и опрокинулось, оставив после себя лишь растрескавшееся дно, усеянное изъеденными солью скелетами морских животных.

И вот с этой кручи Петр смотрел вниз, на железную дорогу, на станцию, на пристанционные постройки, на поселок, наконец, который тогда казался ему целым городом.

Стало быть, этот город — Вифсаиду, Некрополис, Эммаус, Иштар, Коман, Петерберг — Румын и занял, читай, вытоптал отцовскими лыжными ботинками, которые, как полный дурак, он носил на два шерстяных носка даже летом. Ну, прели ноги, конечно, прели, крючило пальцы, чувствовал мерцающие угли под ногтями, но выхода-то другого не было, потому как ботинки были размера на три больше, а носить-то что-то надо было. Вот и носил, вот и страдал, хотя в большей степени почитал страдание за привычку, а невыносимое — за желанное.

— Румын, а Румын, ты — дурак! — кривлялся Вожега и вертел указательным пальцем у виска, — понял?

— Выйдешь, убью, — деловито, даже не поднимая глаз, отвечал Румын и продолжал ковыряться напильником в земле.

«Наверное, он размахнется и со всей своей бычьей силы ударит меня кулаком в лицо», — ежился

Вожега, когда отворачивал кран рукомойника и подставлял затылок под ледяную струю, которая по шее и скулам стекала частью в раковину, а частью — за шиворот.

Становилось немного легче, и боль уходила куда-то внутрь головы, где пряталась в нору, чтобы таиться в ней до поры.

Зофья Сергеевна наконец вставала с пола, интуитивно поправляла парик, ведь она почти наизусть знала все неровности и шишки на собственной голове, а потом короткой, специально для того сооруженной из обрезка арматуры кочергой сдвигала с огня кирпич и ставила на его место чайник.

Говорила себе: «Главное, не забыть, после того как чайник закипит, вновь вернуть кирпич на огонь».

Смолу варили в чугунных таганых на берегу Яузы. Тут же коптили рыбу.

Выкапывали в отвесных песчаных берегах пещеры, где охлаждали вино.

Пойло.

«Вот и к чаю все готово», — говорила Зофья Сергеевна.

Песок в жестяной с орнаментом в виде перевернутых вниз головой верблюдов банке из-под кофейного напитка да густого, коричневого от суточного лежания в заварке цвета вчерашний или даже позавчерашний лимон.

Этот лимон можно было давить ложкой до тех пор, пока он не переставал пузыриться и выпускать при этом из себя терпкую, пахнущую прелой хвоей кислоту.

Зофья Сергеевна всегда пила чай мелкими, каркающими глотками, будто бы в горле у нее со скрежетом двигалась медная, заплывшая масляной краской задвижка из тех, что уже невозможно отодрать

даже плоскогубцами от разошедшихся и покосившихся окон веранды. Отбить молотком или кирпичом можно еще попытаться.

«Нет, не забыла, не забыла», — улыбалась она и передвигала кирпич обратно на конфорку.

От кирпича исходило тепло.

Потом кухонным полотенцем Зофья Сергеевна вытирала вспотевшие затылок и лоб, доставала со дна чашки то, что осталось от лимона, выбрасывала эти останки в ведро под раковиной и кричала:

— Папа, чай будете?

— Нет, не буду, — доносилось глухое, хриплое бульканье откуда-то из глубины квартиры, — не буду, потому что ты, стерва такая, мой лимон сожрала!

— Ну как хотите, папа, а то я крепкий заварила — Кронштадта не видать.

— А к чаю у нас что-нибудь есть? — продолжал капризничать старик.

— Вы же знаете, папа, что к чаю у нас ничего нет.

— Ну тогда и не буду чай пить, только ссаться потом. Сама пей, дура!

— Что вы такое, папа, говорите, как вам не стыдно.

— Стыдно, у кого видно, а я правду говорю!

— Да уж, папа, вы вечно правду говорите. Вы со своей этой правдой надоели всем!

— Не смей, слышишь, не смей дерзить отцу, а то — прокляну!

Через приоткрытую дверь Вожега заглядывал в комнату, где на железной кровати, придвинутой к самому окну, лежал отец Зофьи Сергеевны — Сергей Карпович Турцев, которого из-за его по-птичьему крючковатого носа и абсолютно полотняных, ввалившихся щек во дворе звали Куриным богом.

Куриный бог тяжело дышал, выпускал горячий воздух сквозь сложенные трубочкой-свищом острые губы, двигал подбородком-клювом, открывал глаза и закры-

вал глаза. Думал про горячий, крепко заваренный чай с сахаром и лимоном, только с настоящим лимоном, не лежалым, не вымученным, не размазанным ложкой по краям чашки, а живым, источающим янтарь.

Или сердолик.

Вообще-то раньше Сергей Карпович был лично-стью, достаточно известной в районе Щипка и Зацепского Вала, — он умел жонглировать кипящими самоварами, а также выдергивал скатерть с сервированного на двадцать персон стола, оставляя при этом сервировку безо всяких видимых глазу изменений. Также какое-то время он выступал за футбольную команду завода Михельсона.

Однако летом 1941-го его арестовали, и всю войну он провел в Дальлаге, откуда вернулся только в 1954 году по амнистии. О том времени он не любил вспоминать, не любил извлекать из головы названия полустанков, на которых по ночам останавливался их эшелон, — Макзон, Куэнга, Чифа, Магдагочи, Курлово.

А сейчас Турцев лежал на спине и говорил: «Курлы-курлы».

Трогал края одеяла, подоконник, теребил разбросанных на нем в беспорядке высохших мух, жуков, слепней. Надеялся, что они оживут, воскреснут, но не воскресали ни мухи, ни жуки, ни слепни.

Ослеп он, что ли? Будто не видел, что это всего лишь пыль, сухой, шелестящий на сквозняке мусор. Как он, интересно знать, может воскреснуть? Приподнимался на локте и грозно вопрошал в пустоту: «Кто здесь?»

Вожега тут и закрывал дверь в комнату.

Куриный бог — это камень с дыркой внутри.

На подоконнике лежала Книга.

Сквозняк перелистывал страницы Книги, а вместе с ними и главы, имевшие название «изобрази-